НАД БЕЗДНОЙ

Не спеши судить, а спеши

вину сурово миловать...

Дул сильный ветер. Ока металась в берегах, темная и сердитая. Кипящие волны и стукались друг о дружку, и шумели. Гул ветра и шум воды только усиливал пеструю сутолоку праздника. И к домику Есениных невозможно было подступиться. Казалось, толпа, как разъяренный поток, ввинчивается в двери с размаху и заливает собой все: улицу Константиново, холмы, высящиеся над рекой, пустырь, где маячит полуразбитая церковь, та самая, наверно, с которой, помните?..

...Комиссар Снял крест...

И мне уже некуда

Ходить молиться.

Так я хожу,

Молюсь осинам, в лес,

Быть может,

К старости-то пригодится?..

Братья Сафоновы, Валентин и Эрнст, Вячеслав Богданов и я с трудом всовываемся, вталкиваемся в тугой “прибой” толпы, и вот мы — в сенцах крестьянской избы. За гудением, говором, шепотом, ахами я слышу голос. Голос глуховатый, но сквозной, просекающий общую “подушку” звукоброжения, повисшего в воздухе... Голос — требовательный, волевой, ярый. Голос человека собранного, опытного, резкого. Кто же это, подумал я. Не Прокофьев ли? Он. Конечно, он. Раскрасневшийся, плотный, крепкий. Прямо-таки могучий...

К сожалению, я не помню, какие стихи читал тогда Александр Андреевич. Одно только неизменно подтверждаю: то были стихи о Родине, России, дорогом и великом народе... Года два или три назад я высказал в письме Прокофьеву свое восторженное мнение о поэме Егора Исаева “Суд памяти”, на что получил ответ: “Совершенно правильно, Валентин Васильевич!” И через всю страницу — скачущая подпись...

К тому времени я хорошо знал творчество великолепного русского поэта Александра Прокофьева, я зачитывался его стихами. Некоторые строфы меня околдовывали, замагничивали, намертво привораживали к себе. Я мог целыми днями, неделями, месяцами напевать, повторять про себя:

Сколько звезд голубых,

Сколько синих,

Сколько ливней прошло,

Сколько гроз,

Соловьиное горло, Россия,

Белоногие пущи берез!..

Да и сейчас я готов поклясться верностью и пламенем той первой любви к этим бессмертным строчкам, бессмертным, пока жив хоть один истинно русский человек на земле. При жизни мы не часто отдаем себе отчет в том, кто живет и творит рядом с нами... И, конечно, не раз кое-кто из молодых, да ловких, в те годы набрасывался на музу Прокофьева. Набрасывался со злым упоением хунвейбина, с незыблемой самодовольностыо. Примерно такой же, как вот эти бестактные выводы сегодня:

Да исполнится закон:

молодой дурак

с годами

станет

старым дураком!

Непременно.

Неизбежно.

Здесь пути другого нет.

Станет

молодая бездарь

бездарью

преклонных лет!

Уже была подобная “штука”, ходила в нетрезвых застольях литобывателей, чесала и щекотала животы, жаждущие новых анекдотцев... По слухам, эпиграмма на Безыменского:

Волосы вылезли,

Зубы торчком.

Старый дурак

С комсомольским значком.

Разновидность вариантов этой “штуки” мы видим и в стихах о бездарности... Автор их Роберт Рождественский — голубь мира...

Ужас берет: какая тут титаническая сытость, темная и буревая безапелляционность, чванство. А ведь слова-то “дышат на ладан”. Состряпано все это действительно бездарно и хвастливо!.. Чугунная тачанка нахалов катится по России.

Ужас берет еще и от того, что поэту Александру Прокофьеву, первому седому соловью среди седых соловьев, иногда приходилось чуть ли не “отбиваться” от гнусных и наглых наскоков подобных “классиков”. Трагично, не правда ли?..

Одолеваемый желанием сделать что-то хорошее в этот час для Александра Андреевича, я, дождавшись, когда он выберется во двор, подошел к нему и представился. В коротком, быстром юбилейном разговоре я искренне ему заметил, что и он, Александр Андреевич Прокофьев, останется в памяти русского народа — наравне с его лучшими сынами. Прокофьев плеснул лукавой синевой глаз: “Да я, Валентин, собираюсь прожить еще лет двадцать или двадцать пять!..” Собираюсь!.. Так и не собрался... То было в 1965 году, в дни семидесятилетия Сергея Есенина. А через пять лет ушел из жизни Александр Андреевич Прокофьев, звонкий, крылатый, ветровой русский поэт. Поэт-богатырь! Поэт-воин. Поэт, напоивший сердце читателя удалым словом русского Севера, раздольной мелодией края.

На родной стороне,

Там, где льнет волна к волне,

Не приснилась ли ты мне,

Не приснилась ли ты мне?

Там, где льнет к волне волна,

Где заря на Ладоге,

Не приснилась мне она,

А явилась в радуге!

Всем видна ее краса:

Брови стрелкой узкие,

И до пояса коса,

Золотая, русская!

* * *

Когда я читаю стихи Александра Прокофьева, то у меня все время такое состояние, будто иду я по родным лугам, перелескам, по дорогим с детства местам. Вон там над рощицей кружится и озорничает ветер, а в кустах, у самой воды, заливается соловей. Течет речка. Плывут облака. Бегут дороги, вокруг — былинные просторы, отчие края. Задумайся, помечтай!

О чем это шепчут по холмам шепелявые травы? Почему так тихо на вершинах курганов, где зажжены красные обелиски Родины? Далекая история говорит языческой древностью, а близкая — гордостью, памятью неусыпной... И поэт находит слова, помогающие ему донести заветную, единственную сейчас, очень серьезную мысль...

Земля, земля!

Где б вихри ни носили,

Какая б ни сияла мне звезда,

Земля, земля,

По имени Россия,

В моей груди не смолкнешь никогда!

Ясность и прямота сказанного таковы, что ты немедленно соглашаешься, принимаешь строки душою. Кстати, Прокофьеву Александру вообще свойственно — говорить энергично, сразу, взахлеб и с такой убежденностью, перед которой на сомнения ты просто не имеешь права.

Он был, мой предок, с крепкими руками,

Не многословен был, но остроглаз,

Точил секиру о точильный камень,

Шел на врагов и ранен был не раз!

Смотрите, как вроде бы обыкновенно, привычно пущено определение “точильный”, а в результате этот эпитет — сильнейший доверительный толчок, контакт, мгновенно заостряющий внимание на житейском, бытовом, без чего немыслима общая атмосфера жизни. И уже последняя строка, заключающая строфу, звучит свободно и утверждающе, она как бы лепит характер, присущий только России:

Шел на врагов и ранен был не раз!

Мол, работа — работа, а война — война: чего удивляться, на том и стоим!..

Конечно, Александр Прокофьев выдающийся мастер стиха, чародей слова, увенчанный огромным опытом, житейским и творческим, но ведь мог бы и он “запнуться”, потускнеть с годами, ловиться на фоне современных модерновых изысканий налетом риторической архаики или претенциозно-нравоучительного бездушия, ажиотажной гениальности и безграничного, нездорового брюзжания...

А ведь Александр Прокофьев молод! Разве он не ровесник моему поколению? Прочитайте-ка его “Ветер”!..

Шел весенний и веселый

И заигрывал с Невой

Молодой балтийский ветер

По прозванью ветровой.

А она еще тянулась

И не вдоволь и не всласть,

На заре не окунулась,

Полотном не утерлась,

На котором месяц светит,

Звезды водят хоровод,

На котором пляшет ветер

У распахнутых ворот.

Действительно — ветровая стремительность: столько удали и размашистости, вольной раскованности и движения! Даже какая-то лукавая спортивность, подзадоривает, вызывает тебя навстречу дню!..

Сколько раз говорю,

Сколько раз:

Атакующий класс,

Атакующий класс!

Поэт громко трибунит о рабочем классе, о мощном его и священном праве перестраивать жизнь. Кажется, и слова-то давным-давно известные, но вдохновенный кудесник ставит

их так, что они горят, действуют, ты поддаешься их очарованию и власти:

Ясноглаз,

Остроглаз,

Атакуй,

Атакующий класс!

Пишет поэт о далекой юности, о природе, о Великой Октябрьской революции, о битве с фашистами, о родном Ленинграде — всюду слышишь стук его пламенного сердца. Ни единого холодного слова! Ни единой вялой строки!

Ему ли, воспитавшему своим замечательным мастерством десятки поэтов самых разных поколений, казалось, не позволить себе обнародовать личную “монополию” перед молодыми, в той или иной форме?.. Но?.. Нет!..

Даже в острых, воинствующих стихах Александр Прокофьев придерживается строгого правила: сначала я покажу вам, что мне любо-дорого, и докажу — почему, а потом уже решайте сами!.. Он не берет за шиворот “противника”, не рвет на нем пуговицы, не тащит его за собою, ибо совершенно уверен: должен же человек понять его, иначе зачем же столько ласки, буйства, словесной меткости, российской песенной красоты? Иначе — кому же он подарит несметное богатство северных краев: неувядающие, брызжущие

юмором частушки, запевки, побаски, поведает нравы и обычаи родного края, так воспетые щедрым талантом?

Мне кажется, полезнее

Предупредить ребят,

Что нет чинов в поэзии,

А впрочем, как хотят...

Можно ли пропустить, не заметить эту отеческую заботу и настороженность?

* * *

Прокофьев — патриот. Прокофьев — депутат. Прокофьев — Герой Труда. Прокофьев

— председатель писательской организации Ленинграда и области. А побратим Прокофьева, Борис Корнилов, угнан золото добывать в заполярный угол. А побратим Прокофьева, Павел Васильев, замучен чекистскими извергами в подвале Лубянки. А побратим Прокофьева, Борис Ручьев, изглоданный пургою Певека, кайлит и кайлит северную мерзлоту: враг народа — где ему на халяву прилепиться?

Две жизни в СССР. Одна — газеты, радио, телевидение, театр, министерства, КГБ, армия, ЦК КПСС, другая — колхозная бедность, школьная зубрежка, рабочая накипь недовольства и подпольного отвержения краснобайства и показухи...

Гордость за державу и обида на державу. Терпение и ударные смены за советскую власть и оскомина затвердевшего недоверия к советской власти. А советская власть кто? Чины райкома и горкома, обкома и выше, выше, выше, а та высота недосягаема для обычного труженика. Патриотизм — в партии, патриотизм — в мартене, патриотизм — во взводе, а порядка и справедливости меньше и меньше...

Я ценю патриотизм Александра Прокофьева, но зачем размозжили золотую кудрявую голову Павлу Васильеву в кровавом каменном погребе проклятой Лубянки? На какой мере вечной мерзлоты закопан и оленьим лишайником зашвырен Борис Корнилов? И почему погодок мой, Борис Примеров, третий Борис, на Дону рожденный, цепко и грустно, как я, уралец, выпьет водки или оба мы выпьем водки, да начнем ныть, лбом в ладонях покачиваясь: “Каких русских поэтов прикончили, эх!..”

Два лица у СССР. Одно повернуто к торгашам, ворью и ненасытным грабителям, курируемым палачами, другое — к сталеварам и слесарям, трактористам и учителям, сулящее к ним лицо повернуто, обещательное и надоевшее народу, опротивевшее за семь десятилетий.

А между лицами и между классами — агентура, прокуроры, судьи, следователи, преследователи и их последователи: “О чем вчера вы и в какой связи Никиту Сергеевича и Леонида Ильича зарифмовали, а известно ли вам — бдительность, бдительность и бдительность не даст пошатнуть фундамент СССР, известно?..”

Озирались, подозревая. Шептались, робея. И стихи на досаде круто замешивались...

КОГДА УМИРАЕТ ПЕСНЯ

Памяти Бориса Корнилова

О, военные гимны,—

Злые вихри ночей!

Я погибну, погибну

От руки палачей...

Тех, что, славой прогресса

Забивая нам рот,

Сапогом и железом

Окрестили народ.

Реставраторы тюрем,

Кузнецы кандалов.

Ну-ка, друг мой, закурим,

Сдвинем чарки без слов.

Не порвать нам рубаху

Бунтарям на бинты.

Люди глохнут от страха

И своей немоты.

На костры баррикады

Нам с тобой не пройти,

Все преграды, преграды

На кровавом пути.

Перепутаны цели.

Одиноко.

Темно.

Мы уже на прицеле

У Сиона давно.

Ко всему приготовясь,

Мы встречаем рассвет.

Ты — последняя совесть,

Я — последний поэт.

Это — 1965 год. Москва. Высшие литературные курсы. Литературный институт имени А. М. Горького. Общежитие по улице Руставели, 9/11, комната тесная, а в ней прекрасные русские поэты: Владилен Машковцев, Николай Рубцов, Анатолий Жигулин, Сергей Хохлов, Борис Примеров, читающий свои стихи -как творящий молитву...

Белый выдох березок и яблонь

С головой накрывает меня.

И врезалось, впаялось в душу мою, в сердце мое и в память: вот Борис Примеров перечисляет, перечисляет — что у него еще имеется впереди, поскольку он молод, и вдруг...

Даже смерть у меня впереди!..

И умрет — выполнит предчувствие. Но тогда Борис Примеров наседал с критикой на советскую власть, восторгаясь русскими учеными, полководцами и реформаторами царской России, отменно выделяя Столыпина.

Умрет же замечательный русский поэт Борис Примеров, не одолев трагедию разрушения СССР. Умрет, прося Бога вернуть нам СССР:

Боже, Советский Союз нам верни!

Посвящение Борису Корнилову я не читал Александру Прокофьеву: депутатов нельзя омрачать, соцгероев мы обязаны лелеять, не раздражать, не колебать политическими неграмотностями, не портить им драгоценное настроение экстремистскими закидонами. Мы обязаны привозить и отвозить их в люльковых автомобилях.

* * *

Чего греха таить? У нас порою незаслуженно, а иногда и несправедливо оптом обвиняются те молодые прозаики и поэты, которых следовало бы поддержать старшим товарищам по перу.

Так, например, в длинном, прозаическом монологе-стихотворении Степан Щипачев, с не свойственной ему самонадеянностью, заявил, что:

Поэзия не медальон в оправе

И не холодок драгоценных камней,

Я ею дышу и вправе

Судить напрямик о ней.

Далее же он пояснил, “указал” молодым на то, как “вредно” они любят Россию!..

А эти с развязностью броской

Сплетают на том голоса,

Что только церквушка с березкой

И есть всей России краса.

Во-первых, кто “эти”, во-вторых, “эти”, разумеется, не те, что “сигали” по заграницам, не помня своей Родины, в-третьих, ни один молодой поэт не осмелится “променять”, а вернее, не рискнет отмежеваться от России ракетной во имя России посконной, березово-церковной. Но, вероятно, и ни один поэт не будет говорить о русской церквушке и березке в чужом и пренебрежительном тоне!.. Церквушка — свеча России.

Потому и так “притянуто”, неестественно звучит концовка щипачевского “монолога”!.. Он, Щипачев, как бы извиняется перед нами:

Читаю иного — ровен,

размерен с любой стороны,

а материки

от крови

черны...

Получается так, что Степан Щипачев, очень уважаемый мною человек, видит, как льется кровь на материках, а другие нет. Да наивно все это: вы, дескать, березками увлеклись, а я масштабно мыслю!..

А между тем известно: только через любовь к своему краю, к своей Родине и можно прийти на помощь другому братскому народу, отстаивающему свою независимость. Абстрактное бродяжничество по планете не что иное, как материальный и духовный паразитизм, нередко граничащий с преступлением.

Поэт Александр Прокофьев через всю свою звонкую жизнь пронес огненную и мужественную любовь к России, к великой Родине. Она живет в его сердце ливнями и метелями, ручьями и реками, шумит в его думах черемухой и березками, гудит самолетами и экспрессами, сверкая русским народным, золотым рассыпчатым юмором, сказкой:

А подальше от людей

Спит под елкой Берендей,

Под зеленым деревом,

А сам из Берендеева.

Все его творчество — судьба народная, то радостная, работница и плясунья, то грустная мать-солдатка.

А какие интонации, размеры и ритмы, какие грозные созвучия находит поэт для характеристики Родины в час ее справедливого негодования:

Идет Россия —

Врагов гроза,

Синее синих

Ее глаза,

Синее синих

Озер и рек,

Сильнее сильных

Ее разбег!

Это поднимается буря народного гнева, это грохочет ее броневая сталь: “необорима в грозе она”, “Дорогой горной, тропой любой”... Звук “р” подчеркивает ее мощь, ее железную поступь, сжатость размера как бы сконцентрировала ее силы, вот-вот готовые развернуться в сокрушительном ударе!

Только наши пейзажи, наша речь, наша культура, только наша родная Россия могла вырастить, сформировать истинно национального поэта. Он не мог появиться ни на Украине, ни в Узбекистане, ни в любой другой республике, и не потому, что там хуже или лучше, а потому, что там были, есть свои певцы, а Прокофьев явление чисто русское, национальное.

Все в ней, в Отчизне,

Кругом мое,

И нету жизни

Мне без нее.

Можно родиться и у нас, назваться Ильей или Корнеем, изучить грамматику, вызубрить словари, издать сытые многотомники, но поэтом русским так и не стать, при всем желании, даже если это желание и лишено корыстных целей!..

Знаменитый поэт, гражданин великой страны, хранитель безмерного слова народного Александр Прокофьев много сделал для развития нашей родной литературы. Его творениям не суждено увядание. Большой талант. Большая судьба. Не потускнеет серебряная вязь этих изумительных кружев:

Ждет, глядит в окно беляночка —не я ли на весу

По ромашкам да по клеверу гармонику несу?

Все туда глядит, где ветер елку силится согнуть,

Где бежала пена клавишей на вышитую грудь.

Все глядит из-за герани, отодвинула герань,

Не покажется ль тальянки перламутровая грань.

В этих строчках — целый мир. Деревня. Улица. Видимо — ровная и красивая, если герань юно горит в окошках, если такой лихой гармонист проходит с гармошкой мимо дома возлюбленной, выкликая ее, вызывая молодость к песне, к веселью, к счастью.

* * *

Ньютон, открывший закон тяготения, открыл единство “данного принципа” для всех: для англичан, русских, немцев, французов и т.д. Но поэт в отличие от ученого — гений-одиночка, поскольку язык истинного поэта — дело настолько индивидуальное и уникальное, что донести до другого народа этот язык в первозданном виде невозможно.

Пушкин и Шекспир, Толстой и Бальзак известны миру величием идей, философий, дерзостью ускорить разум и возмужание человечества, но отнюдь не личной особенностью “музыки слова”, не личным или даже интимным умением творца, мастера, колдующего над фразой.

Как, например, перевести?..

Я помню чудное мгновенье,

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

Можно донести смысл, жест, даже — страсть, наверное, но как передать пушкинское чудо слова, чудо мгновенно и деспотически очаровывать тебя, завихривать в кружении и в беге благородных надежд и предчувствий, как?..

Легко перевести статью о химизации, скажем, картофельного поля, о железобетонных опорах нового моста. Легко перевести бездушные, бестелые и бестактные строки, вроде таких:

Аэродромы,

пирсы

и перроны,

леса без птиц,

и земли без воды...

Все меньше -

окружающей природы.

Все больше —

окружающей среды.

Примитивные выводы практицизма!.. Напечатай их прозой поэт, они больше бы согревали обывателя, но не хозяина. Хозяин далек от демагогии. Ему надо беречь лес. Ему надо работать, а не рассуждать.

Эти строчки для любого лесника — находка. Бери и вешай на первом повороте доску, подобно той, которая вещает: “Берегите лес, лес — наше богатство!..” И все тут ясно. И всем на земле это понятно. Не трудно осмыслить “глубину” этой фразы японцу, и перуанцу, и австралийцу. Перевести эти строки — сущая чепуха!.. Бродячие слова — благородны. Но мысли, вложенные в них, схематичны. Они не наполнены “молниями”, страстевыми разрядами поэта и поэзии. Такие мысли и такие слова не поведут поэта на смерть во имя своей правоты. Не поведут поэта такие мысли и слова к той страшной вершине, где смерть и вечность сливаются в один-единственный звук — озарение!.. А озарение — боль, земля, Родина!..

К сожалению, даже у самых, казалось бы, клятвенно гражданских поэтов часто появляются стихи, организованные из слов-космополитов, если так можно выразиться... Из слов, которым не дано чувства света, чувства родословной, чувства человеческого осязания, ощущения неба, равнины, деревни, города, могилы, креста, — словом, того, чем искренность-отличается от лжи, непосредственность отличается от подделки, человек от робота...

Иной пишет искренне, старается любить природу, изучать, соблюдать традиции, обычаи, а все как белая ворона: ни летать по-настоящему, ни каркать...

Ошеломляющая раздельностью и пространством, движением и яростью строфа поэта Александра Прокофьева летит и аукает, поет и грохочет, и все ее жесты, все поступки — соответствуют месту, времени, характеру той страны, какой они беззаветно отданы...

* * *

Во время работы съезда писателей России в марте 1970 года мы с Вячеславом Богдановым завернули к Прокофьеву. Александр Андреевич расположился в гостинице

“Москва”. Постучали. -Вошли. Лежит. Читает газеты. Начали говорить. Начали рассказывать ему о Борисе Ручьеве смешные истории. А Вячеслав Богданов был не только редким мастером шуток, но и прекрасно пародировал голоса, мимику. В “раскачку” он произнес:

Когда бы мы, старея год от году,

Всю жизнь бок о бок прожили вдвоем,

Я мог бы, верно, лгать тебе в угоду

О женском обаянии твоем.

Богданов так ставил ударения на паузах, так изменял строй голоса, что получалась полнейшая правда, шуточная иллюзия ручьевского чтения. Вячеслав свое чтение еще и сопровождал многими наивными и уморительными “подвигами” из обычного быта поэта...

Прокофьев так радовался и хохотал, что, одеваясь, потерял равновесие и чуть не свалился на коврик... Глаза его били в нас пламенной синевой. Хитрые. Озорные. Умные. Зоркие и резкие. Они — все видели и понимали.

— Б-о-о-ри-с-с! — свистя, выдыхал он. — Ах, этот Бо-о-ри-с-с! — И опять заливался каким-то бесконечным юным смехом. Нежно, трогательно он говорил нам о Борисе Ручьеве и об Андрее Малышко, называя их любовно “Борька” и “Андрюшка”, подчеркивая

тем самым некую родственную их дружбу и верность, их единство взглядов, позиций, забот. Попрощался он с нами, когда мы уходили, очень дружелюбно и, нам показалось, с большим сожалением...

По дороге ко мне я рассказал Вячеславу, что Александр Андреевич — сейчас, в сущности, старый, больной и одинокий человек. Схоронил сына. Чуть отдышался от горя, схоронил жену: свою Настю, Настеньку, Анастасию!..

Сколько слов, сверкающих и горячих, посвящено любви, порыву, клятве. Сколько гимнов пропето верности, молодости:

Не в моей веселой власти

Замолчать твои дела.

Я тебя достану, Настя,

Где б ты, Настя, ни была!

Где б ни шла и где б ни встала,

Где бы цветом ни цвела,

Где бы в пляске ни летала,

Где б ты, Настя, ни была!

Удалая, кипучая стихия. Сильная, крутая натура. Долг и подвиг. Цельность и цель. Призвание и человек. Гражданин и время. Родина и поэт, — все это волновало огненного сказителя, двигало, жгло его душу.

Судьба поэта Александра Прокофьева — судьба гордая и боевая. Он вынес железный ветер Октября, выстоял, не мельча себя и не мечась по разным дорогам. Ветер красной революции вошел в его слово, в каждую его строку. Александр Прокофьев воспел романтику, воспел правду, которую берут только с боями!.. Он пережил, выдюжил Вторую мировую!.. Дал нам поэму “Россия”, где искренне и широко развернулся его талант:

Да широкая русская песня,

Вдруг с каких-то дорожек и троп

Сразу брызнувшая в поднебесье

По-родному, по-русски — взахлеб!

Да какой-нибудь старый шалашик,

Да задумчивой ивы печаль,

Да родимые матери наши,

С-под ладони глядевшие вдаль;

Да простор вековечный, огромный,

Да гармоник размах шире плеч;

Да вагранка, да краны, да домны,

Да певучая русская речь!

Каждый день был по-своему громок,

Нам войти в эти дни довелось.

Сколько ливенок, дудочек, хромок

Над твоими лугами лилось!

Отметил Александр Прокофьев своими стихами и наш славный день, день космической магистрали...

Три дороги, как в сказке, три перелома судьбы, три восхождения судьбы, три возмужания судьбы, и собственной, и общей: я имею в виду судьбу родной земли, родного народа, родного нашего государства!

Соотечественникам Александр Прокофьев оставил вдохновенное чудо-слово, слово-колдунью, слово-чародейку, слово, помогающее жить и работать. Поэтам Александр Прокофьев оставил пример исполинской страсти в борьбе за собственное признание, за собственное право быть певцом и гражданином... Этим правом он помог многим поэтам, идущим за ним. Вспомним поэму Бориса Ручьева “Любава”...

До чего ж это здорово было!

Той же самой осенней порой

как пошла вдруг да как повалила

вся Россия на Магнитострой.

Обыо, Вологдой, Волгою полой,

по-юнацки баской — без усов,

бородатою, да длиннополой,

да с гармонями в сто голосов.

Ритмическая, художественная и просто — удалая, размашистая натура стиха Ручьева, безусловно, имела тут счастливую возможность прочно опереться на опыт работы Александра Прокофьева, в частности — на опыт его поэмы “Россия”.

* * *

Удивительно “прокофьевское” время, удивительно “прокофьевское” поколение поэтов. Старший из них — Николай Тихонов, за ним — Владимир Луговской, Виссарион Саянов, Борис Корнилов, Павел Васильев. Разные словом и характером, они все — представители могучей поэтической державы — от Пушкина до Блока, Маяковского и Есенина.

Восторженное, серьезное, соколиное племя! И судьбы их необыкновенны, и труд их велик, и талант их неповторим!.. Лиричен, проницателен, насквозь пропахший мечтательной реальностью Виссарион Саянов. Лукавый и резковатый в действиях Борис Корнилов. Буен, разухабист, статен Павел Васильев:

Пылью крашенный, хмуролицый,

Он вошел к Евстигнею в дом.

И прогнулися половицы

Под подкованным каблуком.

Когда-то я торжественно и ответственно входил в Мавзолей, разглядывая придирчиво себя самого около планетарных мощей. Теперь я стыжусь ободранных и обтрепанных памятников Ильичу, зияющих пустотою пьедесталов, откуда с грохотом низвергают зовущего к борьбе бронзового красного волгаря...

А на станции Внуково, например, памятник революционному Прометею обколот, плитки мраморные шероховато вспороты: мокрый, взъерошенный воробей. Провинциальный позор. Прекратятся ли в России марксистские спирали круговоротного почитания лидеров и круговоротного их деструктивного охаивания: сионистская схема околпачивания гоев на марше к процветанию...

Я, допустим, рабски обожая Владимира Ильича, являл собою “нечеготеряющего” пролетария, послушного гражданина величайшей державы мира — СССР, теперь я, издерганный демократами, раб грабителей-буржуев, отобравших у нас нищий уют и пролетарский дух, теперь я — цивилизованный гражданин изуродованной и обрубленной России. Есть разница?..

Ленина славил Прокофьев — депутат. Ленина славил Ручьев — зэк, колымский каторжанин. Ленина славил я — юный мартеновец. Но за нами — величайшая держава мира... И я оплакивал угнетенную долю матери-колхозницы, ища защиты у Ленина, у державы космической:

ИЗ ОКНА ВАГОНА

Устав от ходьбы с непривычки,

Я сяду в вагон, и потом

Дробящийся гул электрички

Взбурлит, как вода за бортом.

Наклонится ива скорбяще,

Костер забежит на бугор.

И чем-то, родным и щемящим,

Мне душу наполнит простор.

Подумаешь — радости нету,

Мужайся и веруй, поэт,

У власти от мелочи этой

Издревле утерян секрет.

В тебе ли искать ей утехи,

Врагов зарубежных дразня?

Ее обуяли успехи

И счастье грядущего дня.

Недаром, проклятьем отпеты,

За стол и за кресло дрожа,

В дубовых больших кабинетах

Дежурят ее сторожа.

Они тебя встретят по чину,

Столкнись только с ними в упор,

Мужчины, такие мужчины,

Все гладкие, как на подбор.

Лоснятся нейлоном и шелком,

Кулак у любого с бадью,

А в поле — старуха с кошелкой,

Похожа на маму мою.

Да в зыбкой осиновой мели

Увяапо по фары авто...

О, здорово мы поумнели —

Работать не хочет никто!

И я, представитель крестьянства,

Разбуженных строек солдат,

Гляжу на партийное барство,

Мечтающий взять автомат.

Мне стыдно, противно и больно

Хапугам себя отдавать,

Едва не кричу я: “Довольно

Развратничать и предавать!”

В нас дедов и прадедов раны,

Не лживый кремлевский елей, —

Летят обелиски с кургана,

Печальней святых журавлей.

А поезд скользит по обрыву,

Эгей, машинист, укроти,

И шпалы, готовые к взрыву,

Как бомбы, гудят впереди!..

Это — 1967 год... Почему спился сын Александра Прокофьева? Почему Борис Ручьев каторжанин? Почему Борис Примеров незадолго до своей смерти в метро внушал мне: “Пойми, правда или богатство для всех не нужны, а некоторым, некоторым нужны. Нужно, как при Сталине, могучее государство, империя, как при Иосифе Виссарионовиче она и была... Ты — бедный человек, но под щитом империи. Ты миллионер, и ты под щитом империи. Сталин — ого-го!.. А эти — лавочники!..”

И я про себя подумал: “Боря какой-то надтреснутый”... А Боря говорил, говорил, говорил, взмахивая ладонями, как стихи читал — в последний раз читал: больше мы не увиделись... Я приехал к нему, хоронить приехал.

Кто же лучше? Ленин со Сталиным или Горбачев с Ельциным? Задыхающаяся Россия,

прости нас, не сумевших оттеснить бандитов от горла соловьиного твоего!

Соловьиное горло, Россия,

Белоногие пущи берез!..

Борис Примеров любил и знал наизусть отдельные стихи Прокофьева и Павла Васильева считал гением...

Не строкой, а клекотом входит в мое сердце поэзия Владимира Луговского. Размах крыл его достигает державной шири, а высота его полета соперничает с кругами орла. Пронзительный, нарастающий ветер века идет по его стихам и поэмам. Мелькают села, города, страны.

Время любви. Время подвига. Время горя и мужества запечатлел поэт.

Идет патруль по городу.

Шаги.

Шаги. Шаги.

На все четыре стороны

Враги. Враги. Враги!

Или щемящая, взявшая тебя за самое сердце просьба, крик. Крик этот никогда не затихнет за грядой давности, не остынет за холодной чертой времени. Зовущее, все живое и неутоленное слышу я в этом крике...

Пощади мое сердце

и волю мою укрепи,

Потому что мне снятся

костры в Запорожской степи.

Как пульс молодого воина наполнен жизнелюбием и стойкостью, так слово поэтическое “прокофьевского” поколения наполнено энергией и ритмом тех громких прекрасных лет.

Александр Прокофьев — рядовой своего поколения, солдат, рыцарь своего времени. Время повернуло его поэтическое перо на свет, на пространство, на вечность...

Через бури шли, через бои

Верные товарищи мои.

В краснозвездных шлемах иль пилотках,

В гимнастерках латаных,

В обмотках,

В сапогах разбитых третьей носки,

Шли, как вал, качаясь по-матросски!

Сразу — эпоха!.. Революция!.. Война!..

* * *

Как-то глубокой осенью я уловил кукование в лесу: удивился, притих, да, кукование. Сосны. Березы. Трава. Земля — густо засыпанная листьями. И — кукование. “Ку-ку! Ку-ку!” — доносилось из-за ветвей. А ветер торопил звуки, гнал их по скошенным просторам. “Ку-ку!” Прислушался. “Ку-ку?..” Нет. “Фу-гу! Фу-гу!..”

Подкрался к птице. Боже ты мой милостивый! На сучке восседал обычный банальный голубь и надувал зоб: “Фу-гу!”, “Фугу!” Голубь хоть и банальный, но выглядел он справно и респектабельно: перья с жирной просизью, шея опрятная и холеная, хвост упругий и шикарный. “Фу-гу!” — сделал я. Голубь повернулся кругом, наклонил голову вниз, нашел меня и успокоился. Через несколько минут опять раздалось: “Фу-гу! Фу-гу!” Обнаглел — подумал я. Закормили, видать, парня на ближних фермах, стайах и прочих вкусных местах. “Фу-гу! Фу-гу!” И ворковать не хочет, словно тот самый кот, который и мышей ловить разучился. Сидит. Балуется. Или жалеет, глупый, что он голубь, а не кукушка?..

О если бы сейчас в этой дреме осенней, на этих пожелтелых полях заплакала кукушка! Звонкой, горючей слезой упало бы ее кукование. А может — наоборот: растревожило бы, а потом и развеселило? Ведь когда звенит кукушка — звенит все: ручей, трава, небо, даже сердце звенит!..

А тут— как сальная оскомина: “Фу-гу! Фу-гу!” Но никогда не быть голубю кукушкой! Не звенеть голубиному горлу родниковым звоном!.. Не голубю, а дармоеду, не голубиному горлу, а лжи.

Вот и поэт иной, как этот голубь, — сколько ни тренирует себя на “искренний звон”, а ничего у него не выходит, окромя хриплого “фу-гу!”. Пусть он старается, хлопочет, обижается на собственный голос, но “фу-гу!”, это предательское “фу-гу!” все равно его выдает!..

Этот дутый голубь не голубь, а голубиное отродье, настырное и жестокое. Какая-то помесь попугая и чего-то еще такого, что готово всем подражать, все повторять и все заучивать...

Ему и сон не в сон и бодрствие не в бодрствие: “Фу-гу! Фугу!” А кому это надо, кому это дорого и необходимо, дело не его!.. Самоупоен. Обманут собою.

Коренное, кровное, свое — вот главная капля огня, из которого творится поэтический пламень. И у Александра Прокофьева это “свое” — чистый, серебряный, родниковый звон, то грустный, то радостный, но всегда свой, достоверный, незаемный.

Как за речкою за Метой

На семи цветах настой.

На семи цветах багровых

Для девчушек чернобровых.

Язык не заучивает поэт, а родится вместе с ним, вырастает в атмосфере музыки этого языка. К нашему общему горю — многое мы утратили из тех бесценных богатств, тех золотых запасов слова, оставленных нам дедами и отцами. Отношение к родной речи — есть отношение к родной земле. Ныне наша речь и наша природа, наш труд, наша философия — кричат о единстве действий и устремлений в этом священном направлении!..

Когда недоброжелательный “критик” в каждой самобытной фразе “находит” то русопятство, то русофильство, а в каждой заботе о земле и хлебе “отыскивает” пресловутое “противопоставление” города деревне или деревни городу, — хочется сказать такому “деятелю” от литературы: “Как тебе не. стыдно? Сукин сын!.. Неужели писатель, патриот, пахавший эту отеческую землю плутом, защитивший ее своей кровью, вырастивший на ней детей и отдавший их Родине, — хуже тебя знает то, что этой земле, этой стране нужно?!”

Противопоставление поэтов сельских поэтам городским — троцкистское иезуитство, скрытая мысль поссорить братьев-литераторов, разорвать, развести их по разным рубежам... Умелое навешивание ярлыков “почвенник”, “производственник”, “интеллектуал” — изощренный антисоветизм, сионизм в литературе!.. Да здравствуют “почвенники” и “производственники”, идущие за плугом, стоящие у мартеновской печи во имя и во славу прекрасной нашей и светлой Родины!..

Александр Прокофьев отлично понимал все узлы змеиной “семьи” злобных теоретиков, пытавшихся вбить клин между писателями, между народом и писателями, между отечеством и писателями.

* * *

Тот безобидный голубь, что иногда тренируется куковать, не всегда безобидный. Бывает, его “фу-гу” перерождается в хищный зык ворона. Клюв становится острым и длинным, перья — черными, зоб — стальным. Этот “голубь” много поубивал певчих: кукушек, перепелок, соловьев, жаворонков!.. Этот голубь никогда не поймет, о чем звенит кукушка в мае, почему в июне перепелки плачут. Взъерошенный и сердитый, этот дармоед забывает свое призвание ворковать, таскаясь по планете обитания. Он требует действий и пространств!..

Хохолок на его безвинной голове не раз менялся прямо на глазах: вместо него появлялась шляпа, да, да — “ученая шляпа”, из-под которой негодующе посверкивали очки. Сам я дивился тому, с какой мимолетностью и рвением голубь превращался в “литератора”, в “художника”, в “режиссера”, в “публициста”, в “философа”... Наглые стеклышки его очков начинали назойливо блестеть с общественных трибун, с экранов телевизоров, со страниц газет. Они сверлили мою душу из Аргентины, Италии, Америки...

Меня в трепет и страх приводит способность голубя-дармоеда укрощать и усмирять тех, кто с ним не согласен: статьей, фельетоном. Застенчивая физиономия этого голубя мелькает на международных симпозиумах и форумах. Коль понадобится, этот “голубь” способен дерзнуть отлучить тебя от земли, в которой лежат твои деды и прадеды, объявить твои лучшие патриотические порывы и желания кустарщиной, тормозом, изменой...

Но фразы его всюду витиеваты, лозунги опрометчивы и ультрареволюционны. Он, как сказал один философ, любит шум и смятение... Он там, где пахнет жареным, он там, где пахнет живностью, он там, где можно надуть, украсть, вытулить...

Но не бывать голубю орлом! Не пить ему орлиной синевы, не свистеть его крыльям с орлиной высоты. Ворону — оставаться вороном! И все, что я говорю сейчас, — шутка, сказка, выдумка, фантазия муки воображения... Боль моя.

Мир света и мир темноты — вечные враги, смертельные. И во имя света горят обелиски

на победных трассах нашей державы, во имя света идут по рельсам составы, по морям — пароходы, по голубым воздушным путям — авиалайнеры. И поэту дано ощутить все это, понять и воспеть.

И Александр Прокофьев с блеском утвердился в этом праве, с блеском понял мир земли, работу Отчизны, думы современника. Да, ему дано было право сказать нам о себе и своем времени.

Ты не звени, моя яблоня, не звени и, белый выдох, не окутывай меня с головою. Ведь еще неизвестно тебе, яблоня, кто белее — оторопный туман лепестков твоих, купа твоя белопен-ная или голова моя седая!..

Ты цветешь, яблоня? Есенин тебя ласкал, рязанскую невесту. А суровый Прокофьев, уже старый и беспомощный, у корней твоих в осенний костер упал, споткнувшись... Муки такие Бог начертал ему. А ты цвела и цвела. Разве юность догадается о трагедии увядающих!

Цвети, яблоня, цвети! В молодости казалось мне: лишь прикоснусь к тебе — вздрогнешь ты нежно и позовешь меня за собою, тонкая, русская и лебединая...

Реки затормозят бег свой перед нами, юными и счастливыми. Леса вековые перед нами умолкнут, а березы, легкие и поющие сестренки, за нами, за нами устремятся, любопытные.

И горы угрюмые, мои уральские, самые древние в России, на голоса радостные наши выдохом белым ответят, лунным ночным хором: “Мы с вами! Мы с вами!”

Но где юность? Где яблоня моя белая? Где павловасильевский чуб мой? Скажи мне, куда ты пропала, тонкая? И юность ли кончается? И красота ли растворяется в синем тумане? Если бы я до рождения своего знал муки предстоящие, я попросил бы Господа Бога — не родиться: больно мне белую яблоню терять, больно с юностью ее и молодостью моею прощаться...

Вина — не вина, а я, я виноват перед Есениным и Маяковским, Прокофьевым и Луговским, Васильевым и Корниловым, Рубцовым и Примеровым: их нет, а я живу и живу, но ведь они талантливее меня, а мне же не отогнать от них ветер дурного быта, ветер клевет и распрей русских, белым выдохом яблонь не опахнуть их. Кровь русская, безвинная, клокочет меж поколениями, и Россия, любимая, Россия наша, в когтях у черного ворона.

И напрасно ли в августе 1970 года я, поборов допросную обиду и опровергнув подтасованные обвинения, предъявленные мне бдительностью величайшей державы мира, отозвался грустными, грустными стихами:

ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ

Кого о счастье ни спроси я,

Судьбой заласканного нет,

Порой мне кажется, Россия,

Что я последний твой поэт.

Какое зло тебя сгубило

В бреду нечаянного дня,

Коль даже волосы любимой,

Как вспышки красного огня.

Дорог отточенные стрелы

Летят сквозь наши времена,

Пойду налево, там расстрелы,

Пойду направо, там война.

А прямо — конница Батыя

Дымами даль заволокла.

И день и ночь ревут седые,

Ослепшие колокола.

Рыдальным плачем журавлиным

С необозримой высоты

От Колымы и до Берлина

Во мне кричат твои кресты.

Кого о счастье ни спроси я,

Судьбой заласканного нет,

Зачем мне кажется, Россия,

Что я последний твой поэт?

Давно мы теряем — русские русских: Александра Грибоедова на знойных камнях Персии кровью умыли. Знаменитого. Генералом Ермоловым примеченного.

А незнаменитого поэта василькового, из Саратова, куда Чацкий уехал, поэта Василия Шабанова, не успевшего удивиться белому выдоху яблонь русских, в песках Туркменистана пули прорикошетили...

Яблоня моя белая, не вернутся ведь на русскую землю твою поэты твои русские, друзья мои вчерашние: Вячеслав Богданов и Николай Рубцов, Василий Шабанов и Борис Примеров!.. Здесь они встречались. И там они — вместе... А меня Бог задерживает здесь: не все еще, не все муки преодолел я?.. И братьев Сафоновых уже нет...

ИЗ БОРИСА КОРНИЛОВА:

И поднялся хозяин и сказал Богу:

— Отче!

Отче, праведный Боже,

поучи, посоветуй,

как прожить в жизни этой,

не вылазя из кожи?

На земле с нами пробыв,

укажи беспорядок...

Жиды в продотрядах

извели хлеборобов.

Жиды ходят с наганом,

дышат духом поганым,

Ищут чистые зерна!

Ой, прижали как туго!

Про Исуса позорно

Говорят без испуга.

Продразверстки и недоимки, налоги и штрафы, суды и репрессии.

* * *

Александра Прокофьева как человека и поэта родила, воспитала, сделала сильным гражданином страны, звонким и знаменитым поэтом нашей России, всего нашего трудового государства — только Великая Октябрьская социалистическая революция, только она. Прокофьев — революционный матрос, революционный поэт. Революция дала Александру Прокофьеву тему: петь пробуждение народных масс, народной воли и ярости. Петь пробуждение народной силы, сметки, радости. И он не успел раскаяться. Революция дала Александру Прокофьеву взор, летящий, широкий взор певца, счастливого избранника самой краснознаменной поры Отчизны, первых праздников, первых субботников, первых ветровых лозунгов пролетарского мира. Он встречал их.

Революция раздвинула границы души поэта до таких больших пределов, когда его голос стал слышен на Украине, на Кавказе, в Литве, в Белоруссии. Революция заботливо и

сурово провела поэта по всем нелегким путям эпохи борьбы и строительств. Революция нигде “не подвела” поэта, и он, яростный и честный, до конца дней своих служил ей с матросской верностью:

Я хожу не по графику,

По тропинкам и мхам.

Вся моя биография

Разошлась по стихам.

Вся — от красного флага

До ломтя на столе.

Вся — от первого шага

По родимой земле.

Таков поэт в слове! Таков он был в деле, в жизни!..

А жизнь Александра Прокофьева — долгая, высокая и красивая, как далекая вершина, которая манит к себе и притягивает каждое русское сердце...

Прокофьева ненавидела космополитическая просионистская орава стихотворцев. Отпрыски революционеров, разменявших идеал революционный на княжеские особняки, на дворянскую утварь и мебель, цинично презирали Александра Прокофьева за его стремление к равенству, братству, ненавидели его за очищение лозунгов мятежных от икряного и золотого обжорства...

Александр Прокофьев — в могиле. Отпрыски революционеров — на виллах в США, Израиле, Канаде, Франции... Под Москвою — в коттеджах и дворцах, новые русские, проникающие всюду, как ядерная зараза, в охраняемые кабинеты Кремля и в святые родники Радонежья, всюду, всюду. Новые русские — охвостья интернациональных стукачей.

Прокофьев подписал бухаринскую кляузу на Бориса Корнилова, вскоре уничтоженного на Колыме. Прокофьев “сквозь пальцы” пропустил казнь Павла Васильева кровавыми оккупантами России. Чем русский певец руководствовался и утешался? Страхом, наивностью, оторванностью от действительности? Революция ослепила очи Икару?

Сергей Есенин — постепенное трагическое разочарование революционными переворотами и бурями, Прокофьев — сокол, парящий над красным штормом гремящего океана...

Кто прав: Сергей Есенин или Александр Прокофьев? Не нам судить. Не нам решать. Прав их младший сын, со взором Иисуса Христа, недавно покончивший с собою, Борис Примеров, великолепный поэт русский.

Кровь лозунгов, кровь трибуналов, кровь коллективизаций и войн, кровь разрушенного СССР, кровь России, израненной алмазнозобыми голубями-стервятниками, завыла в

младшем сыне Сергея Есенина и Александра Прокофьева, и поэт Борис Примеров выбрал смерть...

“Три дороги на Руси: я выбираю смерть. Меня позвала Юлия Владимировна Друнина и сказала: “Возьми стихи друзей и напечатай под своим светлым именем, чтобы мир ахнул. И я тебя поцелую”. Неохота жить с подонками: Лужковым и Ельциным. Опомнись, народ, и свергни клику... ...Такого не было и не будет на свете.

Борис Примеров”.

Но еще острее, еще больнее завещательного письма пронзили меня строки расставания поэта с Родиной:

Прощай, простор неповторимый!

По прихоти слепой совы

Остался ты теперь без Крыма,

Без Украины и Литвы.

Или:

И слышится колокол,

И слышится колокол

Из водных аркад.

Под сводом расколотым,

Под сводом расколотым

Не Китеж ли град?!

Борис Примеров вошел в русскую поэзию с прокофьевской мажорностью и с есенинской скорьбью, но не смог два этих скифских зова соединить в своем сердце и выбрал смерть...

Русские поредели. От января к декабрю — более миллиона русских уносится к звездам... Выродимся мы, русские, на радость врагам нашим. А друзья наши разделят

вместе с нами, русскими, участь гробовую. Кто хозяин вселенского ада?

Синий океан заворочался — и на Сахалине бездна разверзлась: не кровь ли русская гневно заволновалась? Куда нам от беды скрыться? Как Россию нам уберечь?

Низкий домик над Окою ресницами окон вздрагивает. Ветер звенит и солнце звенит, а золотокрылые березы летят и пропадают за рекою. И вновь я слышу голос глуховатый, голос Александра Прокофьева, просекающий насквозь людские движения и шорохи, мужество и отвага сопряжены в голосе и смыслом повенчаны вещим:

Поднимем заздравные чаши,

Как водится, выше голов,

За вечную Родину нашу,

За теплый отеческий кров;

За отсветы радуг красивых,

За теплые травы долин,

Черемухи душную силу

И красные гроздья рябин;

За то, чтоб весной голосили

На всех лозняках соловьи...

Поднимем, друзья, за Россию

Мы первые чаши свои!

1970-1995